



№ 4

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ ЦВЕТЫ ДЛЯ ПРОФЕССОРА ПЛЕЙШНЕРА





Шарж В. МОЧАЛОВА.

Не имею ни трудов дня —
Не пахал, не сверлил, не мел...
Просьпаюсь — и жизнь меня
Бьет лицом о письменный стол.



**БИБЛИОТЕКА
КРОКОДИЛА**

№ 4

(1112)

ИЗДАЕТСЯ С 1945 ГОДА

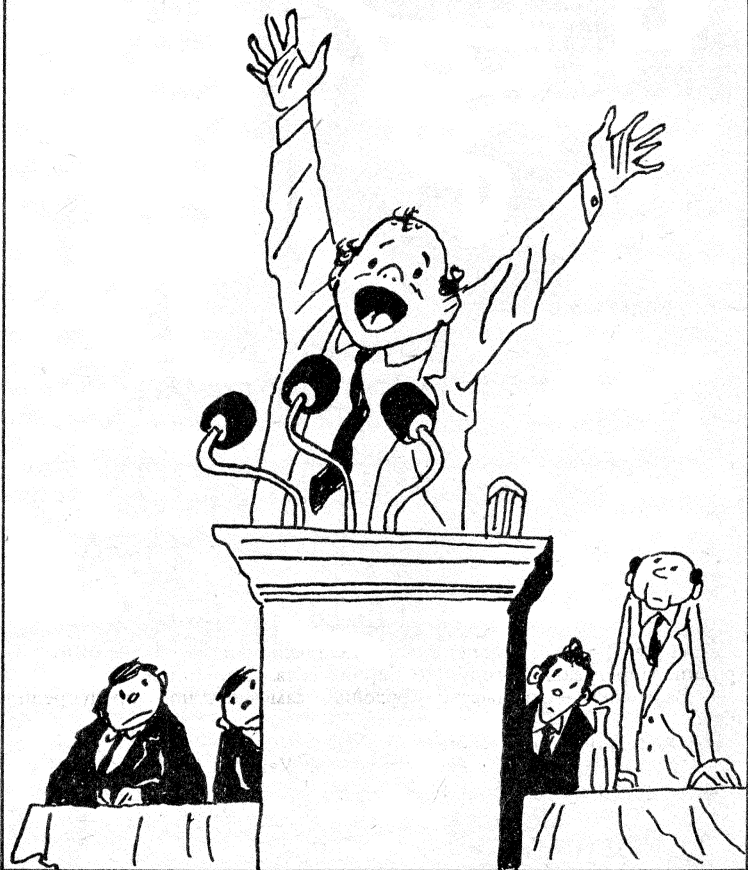
**Виктор
ШЕНДЕРОВИЧ**

**ЦВЕТЫ ДЛЯ
ПРОФЕССОРА
ПЛЕЙШНЕРА**

Рисунки В. БОКОВНИ.

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1991**

НОВЫЕ ВРЕМЕНА



ЦВЕТЫ ДЛЯ ПРОФЕССОРА ПЛЕЙШНЕРА

— Куда? — сквозь щель над стеклом спросил таксист.

— В Париж, — ответил Уваров.

— Оплатишь два конца, — предупредил таксист, подумав.

Уваров кивнул и был допущен.

— Как поедем? — спросил таксист, накручивая счетчик.

— Все равно, — ответил Уваров, располагаясь поудобнее.

У светофора таксист закурил и включил транзистор. В эфире зашуршало.

— А чего это тебе в Париж? — спросил он вдруг.

— Эйфелеву башню хочу посмотреть, — объяснил Уваров.

— А-а.

Минуту ехали молча.

— А зачем тебе эта... ну, башня-то? — спросил таксист.

— Просто так, — ответил Уваров. — Говорят, красивая штуковина.

— А-а, — сказал таксист.

Пересекли кольцевую.

— И что, выше Останкинской? — спросил он.

— Почему выше, — ответил Уваров. — Ниже.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал таксист и завертел ручку настройки. Передавали погоду. По Европе гуляли циклоны.

— Застрянем — откапывать будешь сам, — честно предупредил таксист.

Ужинали под Смоленском.

— Шурик, — говорил таксист, обнимая Уварова и ковыряя в зубе большим сизым ногтем, — сегодня плачú я!

У большого шлагбаума возле Чопа к машине подошел молодой человек в фуражке, козырнул и попросил предъявить. Уваров предъявил членскую книжечку Общества охраны природы, а таксист — права.



SHELL

Любознательный молодой человек этим не удовлетворился и попросил написать ему на память, куда они едут.

Уваров написал: «Еду в Париж», а в графе «Цель поездки» — «Посмотреть на Эйфелеву башню».

Таксист написал: «Везу Шурика».

Молодой человек в фуражке прочел оба листочка и спросил:

— А меня возьмете?

— А стрелять не будешь? — встречно спросил таксист, глядя с сомнением.

Молодой человек пообещал не стрелять и вообще вести себя хорошо.

— Ну, садись, — разрешил Уваров.

— Минуточку, — попросил молодой человек, сбегал на пост, нацепил фуражку на шлагбаум, поднял его и оставил под стеклом записку: «Уехал в Париж с Шуриком Уваровым. Не волнуйтесь».

— Может, опустить шлагбаум-то? — спросил таксист, когда отехали.

— Да черт с ним, пусть торчит, — ответил молодой человек.

Без фуражки его звали Федюня. Федюня был юн, веснушчат и дико озирался по сторонам. Таксист велел ему называть себя просто. Никодим Петрович Мальцев и все крутил ручку настройки, пытаясь поймать родную речь. Уваров, зажав уши, изучал путеводитель по Парижу.

В Венском лесу Федюня нарушил обещание и подстрелил из окна оленя.

Чтобы не оставлять следов, пришлось развести костер, зажарить оленя и съесть его.

После ужина Уваров объявил Федюне выговор с занесением рогов в машину. Федюня отпиливал рога и вспоминал маму Никодима Петровича Мальцева. Икая после оленя, они выбрались на шоссе и поехали заправляться.

Там Уваров вышел размять ноги, глядя, как блондинка с большой грудью заливает Никодиму Петровичу бензин. Федюня, запертый после оленя на заднем сиденье, прижавшись всеми веснушками к стеклу, строил ей глазки. Уваров дал блондинке червонец, и, пока выворачивали с заправки, блондинка все смотрела на червонец круглыми, как австрийские марки, глазами.

В Берне Федюня оживился и предложил возложить красные гвоздики к дому, где пообщал с собой профессор Шлейшнер. Провели тайное голосование, но все проголосовали «за». Распутывая аборигенов, дотемна колесили по Берну, но дома не нашли, отчего Федюня загрустил и повеселел только в Париже.

В Париж приехали весной.

Уваров вылез у Эйфелевой башни, а Никодим Петрович с запертым сзади Федюней поехал искать профсоюз таксистов, чтобы поделиться с ними своим опытом.

Вернувшись с дележа, он увидел, что Федюня исчез вместе с рогами и гвоздиками, и понял, что с юношей случилось самое страшное, что может случиться с человеком за границей.

Искать Федюню было трудно, потому что все улицы назывались как-то не по-русски, но ближе к вечеру Федюню он нашел у очень подозрительного дома с фонарем.

Федюня был с рогами, но без гвоздик.

На суровые вопросы: где был, что делал и куда возложил гвоздики — Федюня только виновато улыбался и краснел.

Уваров сидел у подножия Эйфелевой башни, попивая захваченный из дома лимонад. Никодим Петрович Мальцев нажаловался ему на Федюню, и тут же двумя голосами «за» при одном воздержавшемся было решено больше Федюню в Париж не брать.

— Может, до Мадрида подбросишь, шеф? — спросил Уваров, когда отголосовали. — Там в воскресенье коррида...

— Не, я закончил, — печально покачал головой Никодим Петрович и опустил табличку «В парк».

Прощальный ужин Уваров давал в «Максиме».

— Хороший ресторан... — несмело вздохнул наказанный, вертя бесфуражной головой.

— Это пулемет такой был, — мечтательно вспомнил вдруг Никодим Петрович.

Уваров заказал устриц и антрекот с кровью. Федюня — шоколадку и двести коньяка. Никодим Петрович жестами попросил голубцов.

Принесли все, кроме коньяка: Федюне не было двадцати одного года.

В машине он сидел совсем трезвый, обиженно хрустел шоколадкой. Никодим Петрович вертел ручку настройки, Уваров переваривал устриц. За бампером исчезал город Париж.

Проезжая мимо заправочной станции, они увидели блондинку, рассматривавшую червонец.

В Венском лесу было солнечно, пощелкивали соловьи. Уваров начал насвистывать из Штрауса, а Федюня — из Паулса.

У большого шлагбаума возле Чопа стояла толпа военных и читала записку. Никодим Петрович выпустил Федюню и, простив за все, троекратно расцеловал. Тот лупил рыжими ресницами, шмыгал носом и обнимал рога.

— Федя, — сказал на прощание Никодим Петрович, — веди себя хорошо.

Федя часто-часто закивал головой, сбежал на пост, снял со шлагбаума фуражку, надел ее на место, вернулся и попросил предьявить.

— Ували, Федюня, — миролюбиво ответил Уваров. — А то исключим из комсомола.

— Контрабанды не везете? — моргая, спросил Федюня.

— Ну, Федя... — выдохнул Никодим Петрович.

Машина тронулась, и военные, вздрогнув, прокричали троекратное «ура».

Неподалеку от Калуги Никодим Петрович вздохнул.

— Что такое? — участливо поинтересовался Уваров.

— Федюню жалко. Душевный парень, но пропадет без присмотра.

У кольцевой Никодим Петрович заговорил снова:

— А эта... ну, башня-то твоя... ничего.

— Башня что надо, — отозвался Уваров, жалея о пропущенной корриде.

Прошло еще несколько минут.

— Но Останкинская повыше будет, — отметил таксист.

— Повыше, — согласился Уваров.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС

В литературе я, слава богу, не новичок.

Я ставлю будильник на семь утра; я принимаю контрастный душ и выхожу на кухню. Чайник уже плюется кипятком — два кусочка сахара на чашечку кофе, и можно приступать.

Я пишу повесть. Я стараюсь растянуть это счастье на побольше — полгода, а лучше год.

Поставив точку, я перепечатаю рукопись и дам ей отлежаться недельку-другую. Затем превращу чистовик в черновик, перепечатаю и превращу в черновик снова.

Перебелив рукопись в пятый раз, я подойду к зеркалу, загляну в лицо стоящему там человеку и сострою ему рожу. «Ну что, доволен?» — спрошу я его. Он не ответит. «Дур-рак ты, братец», — скажу я тогда и примусь за рецензирование.

Первым делом, пробежавшись по страницам, я понаставлю на полях всяческих закорючек тупым карандашом. Потом размашисто подчеркну самые удачные, с моей точки зрения, места и нарисую против них возмущенные вопросительные знаки — по одному и целыми стаями. Когда карандаш затупится совсем, я пройду по рукописи с парой фломастеров и загажу ее уже окончательно. Свершив сей подвиг, я поставлю наверху жирный минус и на этом прекращу работу над текстом навсегда.

Отложив рукопись в сторонку, я вставлю в машинку чистый лист и в первых же строках сообщу сам себе:

что повесть моя — вовсе не повесть, а так, ни рыба ни мясо;

что надо больше работать над композицией, а лучше не писать вообще;

что главный герой вызывает недоумение, а остальные — отвращение;

что нужно четче проявить авторскую позицию и увидеть свет в конце тоннеля, и пока я его не увижу, не стоит беспокоить редакцию своим пессимизмом.

«Рецензент Имяречкин», — отстучу я вниз и поставлю напротив фамилии размашистую каляку-маляку. Аналогичным образом, не выходя из-за стола, я засобачу еще десяток «отлупов» — слава Богу, не первый год в литературе. Я отстучу их, не останавливаясь, один за другим: холодно-доброжелательный отзыв из журнала «Ближний свет» (рецензент очень симпатизирует автору, но официально заверяет, что автор не Толстой) и полное огнедышащей страсти письмо из «Российского почвенника» (рецензент убивал бы таких, как я и мои герои, вместе с членами семей); я сам снабжу себя и комсомольским приветом из молодежного органа (рецензент желает мне и моему нераскрывшемуся дарованию всего доброго), и дельным советом из «Оазиса пустыни» (рецензент готов смириться с отдельными огрехами повести, если действие будет перенесено по месту издания журнала, а главный герой станет хлопкоробом и сменит фамилию Гинзбург на Убайдуллаев).

После обеда, пососав валидол, я прикончу повесть еще пятью-шестью ударами, а напоследок, хохмы ради, порекомендую издательству имени первопечатника Федорова как можно быстрее — скажем, в первой половине третьего тысячелетия — поставить ее в план рубрики «Голоса молодых».

Закончив последнюю эпистола, я аккуратно заверну в нее повесть, поставлю дату и все это закину на шкаф — туда, где давно лежит все написанное мною.

Ночью я, как всегда, буду плакать и метаться, а на следующий день напьюсь, как свинья, но по мне лучше это, чем бегать бобиком по редакциям, всем улыбаться, чего-то ждать, трижды в день совать нос в почтовый ящик и всю жизнь кушать эту бочку дерьма чайной ложечкой.

Через недельку-другую я буду как огурчик и снова смогу писать.

У меня на шкафу еще полно места.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

В понедельник с утра Пасечкин решил отдать власть народу. Народ в понедельник оказался хмур и недоверчив, Пасечкину не поверил.

— И что, так прямо всю власть? — переспросил с детства любивший точность бухгалтер Зайгезундер.

— Всю, — радостно подтвердил Пасечкин.

— Ты чего, Олег Петрович? — тихо поинтересовался сидевший тут же, в президиуме, инспектор по кадрам. — Правда, что ль?

— Ага, — сказал Пасечкин, улыбаясь народу.

— Во дает мужик, — выдохнул народ.
— Значит, свобода? — выкрикнул из десятого ряда разнорабочий Фомич.

— Она, — подтвердил Пасечкин.

— С когда? — спросил Фомич.

— С сейчас, — ответил Пасечкин.

— Эх, — крикнул вдруг Фомич и через ползала плюнул точно в бухгалтера Зайгезундера. Зайгезундер, хотя и с детства любил точность, к плевку отнесся отрицательно и попросил президиум, чтобы они там поскорее установили правовое государство. Из президиума ответили, что правовое государство — это они сейчас, ну максимум со среды.

— Подождите, — опомнился вдруг инженер по фамилии Хорьков и, сглотнув, поднялся среди зала. — Это что же, мы теперь сами и будем выбирать?

— Ну, — сказал Пасечкин.

— Кого захотим? — не поверил инженер.

— Кого захотите, — подтвердил Пасечкин. — Кого из нас захотите, того и будете выбирать.

— Ясно, — сказал инженер.

— Еще есть вопросы? — доброжелательно поинтересовался Пасечкин.

— Есть, — доброжелательно ответил инженер. — А что, и буфет теперь будет общий?

Президиум перестал создавать правовое государство и устался на Хорькова.

— Вы не поняли, товарищ, — мягко сказал Пасечкин, когда вместе с президиумом вышел из столбняка. — Это власть будет общая, а буфет — раздельный.

— Нет, подождите, — сказал любознательный инженер. — А если мы не захотим раздельный? Как тогда? Объясните...

— Я сейчас, — сказал, уходя, инспектор по кадрам. — Мне тут нужно...

Пасечкин поморщился.

— Несолидно как-то получается, — ответил он. — Вам, сукиным детям, власть отдают, а вы — «буфет»...

— Ну хорошо, — сказал любознательный Хорьков, осторожно косясь в сторону разнорабочего Фомича, который с криками «Эх, свобода!» — продолжал плевать на бухгалтера Зайгезундера. — А вот у нас на втором этаже комната большая, там под портретами сидит человек и всем говорит, что он ядро и руководящая роль — можно его убрать куда-нибудь, а то надоел?

— Человека трогать не будем, — веско ответил Пасечкин. — Это исторически сложилось. Без человека вы пойдете не в ту сторону, собьетесь с пути, заблудитесь и пропадете все к чертовой матери. На него при вашей-то власти только вся и надежда.

Выходивший по нужде инспектор по кадрам вернулся и сел на место. Нуждался он, как выяснилось, в личном деле Хорькова, которое и принялся читать, плотноядно шевеля ушами.

— Ну хорошо,— сказал Хорьков.

— Регламент,— напомнили из президиума.

— Я секундочку,— сказал Хорьков.— Я только узнать насчет свободы слова.

— Свободы слова у нас будет много,— ответил Пасечкин.— Но чтобы без мордобоя и опрыскивания ядохимикатами, надо попросить слова за полгода, а потом хорошенько подумать и не прийти.

Тут разнорабочий Фомич не рассчитал силы плевка и вместо назначенного Зайгезундера попал в президиум. Там немедленно было создано правовое государство, и Фомича повели. Оплеванный ранее бухгалтер очень удивился и обратил внимание присутствовавших, что вот сейчас в него как раз не попали. Бухгалтера повели, чтобы Фомич не скучал.

— Ну хорошо,— сказал любознательный Хорьков, когда правовое государство немножко успокоилось.— А вот если кто захочет совсем отдельно...

— Товарищи,— сказал Пасечкин,— по-моему, нас пытаются увести в сторону. Хватит демагогии. Надо же наконец приниматься за дело. Кстати, о деле. В деле выступавшего здесь Хорькова обнаружились интересные факты. Этот, с позволения сказать, борец за права человека еще в пятьдесят пятом году своровал на базаре города Мелитополя пучок редиски и с тех пор в глубине души сочувствует ку-клукс-клану.

...После собрания состоялся праздничный концерт. Власть к этому времени прочно находилась в руках народа, а бывший инженер — в руках дружинников. Вечер удался на славу. Инспектор по кадрам прочел свое любимое стихотворение — «Шестое чувство», Пасечкин с членами президиума прямо на сукне сбацил для народа брейк. В буфете давали мыло.

КАК АНТОШКИН И КОЛОБОВ ИГРАЛИ В ШАХМАТЫ

Антошкин всегда играл черными и без ферзя. Когда он просился поиграть белыми и с ферзем, Колобов молча клал ему на лицо волосатую пятерню и сильно толкал.

Когда Антошкин вставал на ноги, Колобов забирал у него обе ладьи — одну правой рукой, а другую левой. Антошкин мучительно думал

и ходил. Если ход Антошкина Колобову не нравился, он сразу бил его кулаком в ухо и велел делать другой. Если Антошкин настаивал на своём, Колобов заставлял его стирать свои носки и отжиматься от пола.

Сам Колобов над ходами не думал, а ходил сразу, два раза подряд. Если Антошкин начинал протестовать, из-за кулис выходили два колобовских приятеля, брали Антошкина за руки, за ноги и больно били головой о стенку.

На семнадцатом ходу Колобов предлагал Антошкину сдаваться. Если Антошкин не сдавался, его уничтожали, а Колобов делал ход конем. Конь у Колобова ходил буквой «Г» и другими буквами, и снимать его с доски запрещалось категорически: за это рвали здоровые зубы и унижали морально.

Иногда у Антошкина сдавали нервы, он начинал плакать и звать судью. Судья приходил, признавал его душевнобольным и сажал в психушку. В этом случае Антошкину засчитывалось поражение, потому что по переписке Колобов не играл.

Но проходили годы, Антошкин возвращался и говорил Колобову:

— Ну что, сыграем еще партийку?

— Не надоело? — спрашивал Колобов, разминаясь.

— Да нет еще, — отвечал Антошкин.

И они играли еще. Семьдесят лет подряд. И никак Антошкин не хотел смириться с тем, что Колобов играет сильнее...

ЖИЗНЬ МАСОНА ЦИПЕРОВИЧА

Ефим Абрамович Циперович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон.

По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в «Гастроном». Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в «Гастрономе» было нечего, это знали все, включая Ефима Абрамовича, но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате:

— А вырезки что, опять нет?

Он был большой масон, этот Циперович.

Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол жена, Фрида Моисеевна, масонка. Обычно ставила она вермишель с сыром, которую Ефим Абрамович тут же съедал.

Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Циперович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего этого не подозревали и напивались как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Циперович.

— Как жизнь, Фима? — спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от «престо» к «модерато».

— Что ты называешь «жизнью»? — интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца.

После ужина Циперович звонил детям. Дети Циперовича тоже были масонами. Они масонили, как могли, в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало, потому что один был студент, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушки Циперовича и надежда мирового сионизма.

Иногда из соседнего подъезда приходил к Циперовичу закоренелый масон Гланцман, недавно в целях конспирации от патриотов взявший материнскую фамилию Финкельштейнов. Гланцман пил с Циперовичем чай и жаловался на инсульт и пятый пункт своей жены. Жена была украинка и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел, хотел, чтобы ему дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь.

Они пили чай и играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов и с трудом скрывали этот постыдный факт даже на людях.

Выиграв две партии, Гланцман-Финкельштейнов, приволакивая ногу, уходил в свое сионистское гнездо, а Ефим Абрамович ложился спать и, чтобы лучше спалось, брал «Вечерку» с кроссвордом. Если попадалось: автор оперы «Демон», десять букв, Циперович не раздумывал.

Отгадав несколько слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали. Он лежал, как маленькое слово по горизонтали, но засыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Может, о том, что никак не удастся ему скрыть свою этническую сущность; а может, просто так вздыхал он — от прожитой жизни.

Кто знает?

Ефим Абрамович Циперович был уже пожилой масон и умел вздыхать про себя.

АВТОБУС

Кукушкин ехал в автобусе и думал о хорошем.

— Тебя расстрелять надо, — услышал он и поднял глаза.

— Расстрелять! — внятно повторила женщина с гладким личиком учительницы начальных классов.

— Меня? — не поверил все-таки ушам Кукушкин.

— Тебя, — подтвердила женщина.

— За что? — спросил Кукушкин.

— Чтобы ты не сидел здесь, — ответила женщина с лицом учительницы.

В автобусе стояла тишина понимания.

— А почему не его? — предложил Кукушкин и тыркнул пальцем в сидевшего впереди мужчину. Мужчина был толст, и, по наблюдениям Кукушкина, попасть в него при расстреле было бы значительно проще.

— И его, — успокоила Кукушкина женщина с лицом учительницы начальных классов.

— Может быть, тогда всех? — предложил Кукушкин.

— А что, и всех, — обрадовалась женщина.

На душе у Кукушкина полегчало.

— За что всех-то? — заорал автобус.

— За что надо, — строго отрезала женщина.

— А вас не будем расстреливать? — спросил Кукушкин.

На чистое лицо женщины легла тень напряженной умственной работы.

— Меня потом, — ответила она, завершив работу. — Меня — после перегибов.

— Замечательно, — сказал Кукушкин. — Когда начнем?

Автобус насторожился.

— Вношу предложение, — сказал Кукушкин. — Давайте прямо сейчас. Кто «за»?

«За» оказалось пол-автобуса.

— Активнее, товарищи, — попросил Кукушкин. — Раньше начнем — раньше кончим.

Проголосовали остальные. Против оказался только толстяк, намеченный к расстрелу непосредственно после Кукушкина.

— В чем дело, товарищ? — нервничая, спросила женщина с лицом учительницы. — Не срывайте мероприятия!

— Позор отщепенцу! — крикнули с первых сидений.

Толстяку было предоставлено последнее слово. Он поднялся и в голос зарыдал.

— Свой я, товарищи, — рыдал толстяк. — Свой! Я не против, чтоб расстреливать, но зачем же сейчас? После остановки давайте, — там вон еще сколько народу войдет!..

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В воскресенье днем Николаю Бекасову осточертела жизнь. Но не своя, а жены.

Женат он был почти четыре года, из них три с половиной — неудач-

но. В воскресенье же днем чаша переполнилась, и Бекасов задумал недоброе.

Уже полчаса он лежал на диване и, изводя себя, слушал, как шваркает на кухне крышками его обреченная половина. И все эти полчаса угрюмо шлялась вдоль бекасовских гарнитуров худая тень студента Раскольникова с тяжелым предметом в руках.

«Тварь я дрожащая, — глядя в потолок, спрашивал себя Бекасов, — или право имею?»

И его читательский опыт ответил ему: Коля, ты имеешь право, но тебя поймают. Навалится какой-нибудь худой с дедуктивным методом, не говоря уже об отечественных майорах — эти вообще на метр в землю видят — шелк наручниками, и поведут тебя, Коля, под шелест страниц УК РСФСР... Много за нее, конечно, не дадут, думал Бекасов, хищно пошевеливая в носках пальцами ног, но анкета уже не та...

Нет, решил он, надо действовать интеллигентно! И от собственного коварства у Бекасова приятно заныло в животе.

На следующий день, напевая из «Аиды», Бекасов извлек из портфеля последний том «Анны Карениной» и расписание движения пригородных поездов Ленинградской железной дороги. Обе книжки были любовно положены на спальную тумбочку жены — женщины, по наблюдениям Бекасова, простой, но догадливой.

За следующий день никаких изменений в семейном состоянии Бекасова не произошло — может быть, он переоценил догадливость супруги. Или недооценил простоту.

В последующие несколько суток на тумбочку жены последовательно легли: драма А. Н. Островского «Гроза» с приложением карты «Москва — порт пяти морей» и брошюры «Учитесь плавать!», роман Г. Флобера «Мадам Бовари» с вложенной в него рекламой ядохимикатов и трагедия В. Шекспира «Антоний и Клеопатра» с билетом в террариум.

Но даже пример египетской царицы не пронял чугунного сердца бекасовской супруги.

Через месяц он опустился до периодики.

Через два, уже небритый, тайком вырезал в библиотеках страшные судебные очерки из многотиражек «Таежная правда» и «Вестник пустыни», а через три — запил.

Особенно же сильно запил он через полгода — в день, когда прочел в академическом сборнике статью своей жены, филолога Бекасовой.

Статья называлась «Женская судьба в зеркале мировой литературы».

С полученного гонорара (что совпало с пятилетием супружеской жизни) Бекасову было подарено прекрасное издание гетевского «Вертера» и повешена над кроватью репродукция картины Рембрандта «Юдифь с головой Олоферна».

ПРОБЛЕМЫ ПАШИ ПЕНКИНА

Паша Пенкин давно уже заподозрил неладное. В первый раз еще осенью, когда биологичка изрисовала ему весь дневник «гусьями», а в четверти как ни в чем не бывало вывела тройку, хотя Пенкин ничего такого не просил.

Человеком он был неученым, но любознательным и вскорости нашел случай подсмотреть страницу в журнале, где напротив своей фамилии обнаружил совсем не то, что значилось в дневнике. То есть ну совсем другие цифры. Паша Пенкин был совсем еще юн и не знал, что за низкий процент успеваемости учителей на педсовете лишают сладкого.

«Как же так?» — подумал он сначала. «Чего ж я страдал?» — с законным возмущением спросил себя потом и, не найдя ответа, принес на следующий урок жабу и подложил биологичке на стол. Жаба была настоящая, и эффект вышел замечательный: училка кричала: «Уберите это безобразие!» — а безобразие пучило глаза и прыгало по тетрадкам. Все, в общем, было здорово, и только вопросы, мучившие Пенкина, по-прежнему оставались без ответа.

И вот на классном часе, когда эта пигалица Сидорова пропищала, что их показатели по учебе и впредь будут на высоте, Пашу осенило. Он начал связывать явления и в минуту постиг всю механику. Показатели представились ему в виде воздушных змеев, которых учителя вместе с особо одаренными детьми запускают на спор — у кого выше.

Тут почему-то вспомнился Пенкину щенок ирландского сеттера Джим, за которого он отдал летом мамин подарок, транзисторный приемник «Турист». «Турист» перекочевал к угреватому сельскому переростку, а щенок ирландского сеттера вырос и стал удивительно похож на отечественную дворняжку. Мама всплескивала руками, Пенкин, вздохнув, переименовал Джима в Шарика, но от родительских прав не отказался...

Он начал всматриваться в жизнь; он украл из школьного буфета килограммовую гирьку и взвесил ее. Гирька недотягивала тридцати граммов, и Паша гирьку не вернул. В его жизни наступила пора ясности: он понял, что слова вообще не имеют с жизнью ничего общего — вроде гипсовых пионеров с трубами в пионерлагере, где можно кидаться подушками во время тихого часа...

Стояла зима. Уроков Пенкин не учил, получал, что давали, и жил в свое удовольствие, пока однажды на физике не прочел записку следующего содержания: «Пенкин! Идем сегодня в «Неву» на «Ступени супружеской жизни?»»

Он пошарил взглядом по классу, наткнулся на внимательные темно-серые глаза Анечки Куниной и кивнул.

Сразу после школы Паша помчал в кино, отстоял очередь и на единственный рубль купил два билета на вечер. Дома он понял, что влюбился; бродил как лунатик по квартире, обеда не ел, уроков не учил,

полчаса расчесывал у зеркала вихры, а потом еще час простоял, сжимая в красной руке билетки, у входа в кинотеатр и промерз как собака безо всякой пользы — без пользы, потому что Анечка не пришла, а промерз, потому что обещали минус два — четыре, а стукнуло минус десять.

Пенкин брел домой и думал, что больше никогда никому не поверит — ни женщинам, ни радио.

Мама сказала: «О, господи» и, напоив его чаем с малиной, уложила в постель. Малина была сладкая, а чай — горячий, и, засыпая, Пенкин подумал, что, пожалуй, для мамы он сделает исключение.

Утром на перемене Анечка объяснила ему: вчера она пошла с Колькой Орловым на «Экипаж»; если б она знала раньше, что в «Варшаве» идет «Экипаж», пошла бы с ним, с Пашей Пенкиным.

— Ты не сердись? — спросила Анечка, склонив набок хорошенькую головку, но Пенкин промолчал — из гордости и потому что осип, несмотря на малину. «Никому нельзя верить, — мрачно думал он, рисуя самолеты на промокашке. — Никому».

В глубине души Пенкин уже не понимал, как мог полюбить такую дуру, но было обидно из принципа.

Вечером мама все-таки отвела его в поликлинику, где Пашу посадили к какому-то аппарату, поставив перед носом песочные часы.

— Следи, — строго предупредила тетка в белом халате. — По минуте на ноздрю, понял?

— Угу, — сказал Паша, глядя, как сыплется песочек из прозрачного конуса. Когда тетка в белом ушла за занавеску, Паша вынул трубку из ноздри, поводит носом туда-сюда и, подождав, пока верхний конус опустеет, перевернул часы и засек время.

— Посмотрим, посмотрим... — возбужденно шептал он, глядя то на струйку песка, то на циферблат.

Последняя песчинка упала вниз на пятьдесят второй секунде.

Пенкин сидел и ошалело смотрел на неподвижную горку в нижнем конусе часов. «Вот это да! — сказал он, когда к нему возвратился дар речи. — Вот это я понимаю!»

Но он уже ничего не понимал.

До дому было недалеко.

— Знаешь, мам, больше я в эту поликлинику не пойду, — помолчав, сообщил Пенкин.

— Вот еще новости, — сказала мама. — Пойдешь как миленький.

— Нет, — мрачно ответил Пенкин. — Вот увидишь.

Они подходили к своему подъезду, оставив позади вечерние огни улицы и стройку жилого дома, в котором по всем бумагам уже три года как жили люди.

Дома их, повизгивая от радости, встретил ирландский сеттер Шарик.

ТИМОФЕЕВЫ

Тимофеев работает в одном серьезном учреждении.

Каждое утро, позвякивая ключами, он сходит по лестнице, чуть кивнув вахтеру, открывает тяжелую дверь и попадает на улицу. Там опускается снег, там лет дождь, там печет солнце, но все это беспокоит Тимофеева не более полуминуты. Потом он включает зажигание и, помигивая левым поворотом, выезжает в переулок.

Елозят по стеклу «дворники», мурлычет кассета, Тимофеев едет на работу, и никто в целом мире не знает его тайны. Кроме меня. А я никому не расскажу. Кроме вас.

Дело в том, что — только вы не пугайтесь! — внутри Тимофеева, под отличным финским плащом и костюмом, живет другой Тимофеев, такой же, но поменьше.

Тот, другой, похож на первого, но длинноволос, любит запах стружки и табака и песни «Битлов». Для хорошего настроения ему достаточно обнаружить за подкладкой мелочь серебром или пройти метров сто позади женщины, если женщина стройная. Он запросто влезает в набитые автобусы и чуть-чуть презирает владельца автомашины, включая и этого, в финском плаще. И когда серая тимофеевская «Лада» катит по осеннему проспекту или пробивается сквозь месиво вечерних пешеходов, тот, второй, всегда хмыкает где-то там, внутри: надо же, мол, буржуй, машина завел...

Друг друга они раздражают.

То длинноволосый поворачивает ответственное тимофеевское лицо за ножками и при этом гурмански вытягивает в трубочку тимофеевские губы — Тимофеев, чуть заметит это, всегда спохватывается, ругает длинноволосого, краснеет и ставит все на место. То, стоит Тимофееву отвлечься, исподтишка ослабляет пальцем узел галстука — не нравятся длинноволосому галстуки, и все тут!

Но хуже всего на собраниях. Тут Тимофеев только знай присматривает, чтобы тот, который внутри, не корчил рож начальству и не смеялся в голос. «Кончай хулиганить», — шипит он, изо всех сил борясь с выражением лица, а длинноволосый, стервец, непременно норовит зевнуть, так что сидит Тимофеев в президиуме с постоянно сведенными скулами.

Так они и живут — и это бы полбеды.

Но когда вечером, хлопнув дверцей, Тимофеев запирает машину и мимо галдящей ребятни отправляется к подъезду, где-то там, глубоко-глубоко, под тем, вторым, Тимофеевым начинает ерзать третий: маленький, с залитыми зеленой коленками, с огромным рогатым жуком в банке и великой мечтой — играть за «Спартак» вместе с Игорем Нетто. Этот маленький вдруг сжимает сорокалетнее тимофеевское сердце, и тот, эхнув, с разбегу поддает ногой лежащий на асфальте камешек. Камешек влетает в водосточный люк, маленький с зеленчатыми колен-



ками вопит: «Го-о-ол!», а Тимофеев останавливается, испуганно озирается, вздыхает, тянет на себя тяжелую дверь и исчезает в подъезде.

В его квартире на втором этаже, в мягком кресле, укрывшись пледом и подобрав под себя тонкие ноги, сидит женщина с ускользящими глазами. Она курит и разговаривает по телефону. Длинноволосый, увидев ее, каждый раз свирепеет. «Слушай, — шепчет он Тимофееву, — что делает в твоём доме эта мадам? Гони ты ее в шею!» — «Отстань, — устало морщится Тимофеев. — Отстань, ты ничего не понимаешь...» — «Ну и черт с тобой», — заключает второй, а третий, маленький, ничего такого не говорит, только весь вечер подзуживает Тимофеева сыпануть длинной соли в чай или поджечь плед зажигалкой.

Но Тимофеев начеку.

— Пусенька, — говорит он, нежно улыбаясь. — Вот и я.

И пусенька, не отрываясь от трубки, нежно улыбается ему в ответ.

За окном темнеет. Последним гаснет телевизор; они ложатся. Тимофеев скоро засыпает, и тогда тот, второй, длиноволосый, прикрыв глаза, начинает тайком вспоминать одну девочку — на картошке, на первом курсе — ее мягкие губы, ее теплые плечи — и тоже засыпает, вздохнув и повернувшись спиной к женщине, лежащей рядом.

А третий, маленький, еще долго глядит в черную полосу окна, слушает, как шумит ветер за окном, и все мечтает, что вот вырастет, станет совсем-совсем взрослым, будет есть сколько влезет мороженого и вообще жить так, как ему захочется.

МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

— Строиться, взвод! Эй ты, чмо болотное, строиться была команда! Это ты на гражданке был Чайковский, а здесь ты чмо болотное и пойдешь после отбоя чистить бритвой писсуары!

Еще есть вопросы? Кто сказал «еще много»? Я, Гоголь, послушаю твои вопросы, но сначала ты поможешь рядовому Чайковскому в его ратном труде. А чтобы не совал свой нос куда не надо! Вы чем-то недовольны, Грибоедов? Или думаете, если в очках, то умнее всех? А что ж тогда у вас портянка из сапога торчит? Сапоги, товарищ рядовой, тесные не бывают, бывают неправильные ноги. Объявляю вам два наряда вне очереди, рядовой Грибоедов, чтобы вы не думали, что умнее всех. В наряд заступите вместе с Менделеевым — он вчера отказался есть суп. Рядовой Менделеев, выйти из строя! Объясните вашим боевым товарищам, почему вы отказались есть суп. Раз я говорю, что это был суп, значит, суп. Тридцать отжиманий, рядовой Менделеев! Время пошло! Лобачевский, считайте! Глинка, предупреждаю: если Менделеев не отожмется, сколько я сказал, вы с Левитаном будете в выходной заниматься физподготовкой.

Кому еще не нравится суп?

Пржевальский, тебе нравится? Рядовой Пржевальский, выйти из строя! Объявляю вам благодарность. Вот, берите пример: суп ест, ни на что не жалуется, здоровый как лошадь.

А тебя, Толстой, я предупреждал, чтобы ты молчал. Не можешь молчать? Я тебе устрою, Толстой, пять суток гауптвахты, чтобы ты смог. Заодно передашь там Лермонтову, что прапорщик, на которого он писал свои стишки, его не забыл. Ты, Толстой, пахать у меня будешь до самого дембеля.

Дисциплина во взводе упала, но она об этом пожалеет. Взвод, смирно! Вольно. Рядовой Суриков, выйти из строя! Посмотрите на Сурикова. Это солдат Советской Армии? Это не солдат Советской Армии, это лунатик. Днем он спит в строю, а ночью рисует боевой листок по приказу замполита. У тебя, Суриков, боевой листок, у Шалапина — самодеятельность, а служить за вас Пушкин, что ли, будет? Не будет. Его уже вторую неделю особисты тягают за какое-то послание в Сибирь. Так. Суриков заступает в наряд по кочегарке. Кто хочет помочь Сурикову нести людям тепло? Белинский, я же вижу, что ты хочешь. Выйти из строя! Товарищи солдаты! Вот перед вами шланг, сачок и симулянт Белинский. Он не хочет честно служить Родине, он все время ходит в санчасть, его там уже видеть не могут с его туберкулезом. Вы пойдете в кочегарку, рядовой Белинский. Я вас сам вылечу.

А вы чего глаза закатили, Щепкин? Опять о профессиональной армии мечтаете? Чтобы честные люди за вас служили, а вы только «ля-ля, тополя»? Не будет этого! Замполит сказал: гораздо дешевле противостоять блоку НАТО с такими, как вы. Особенно как Белинский. Чтобы равенство, и если сдохнуть, то всем сразу.

Взвод — газы! Надень противогаз, уродина! Во какие лица у всех одинаковые стали! Где Чайковский, где Левитан — ни одна собака не разберет. Заодно и национальный вопрос решили. А еще говорят, что в армии плохо. В армии — лучше некуда! Кто не верит, будет сегодня после отбоя читать остальным вслух «Красную звезду». Все! Взвод, направо! Ложись! На прием пищи, в противогазах, по-пластунски бег-ом... арш!

АКТ ПРИЕМКИ СПЕКТАКЛЯ «ОТЕЛЛО» В ДРАМКРУЖКЕ ДОМА ОФИЦЕРОВ ПРИКОРДОНСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Политуправление Прикордонского военного округа приказывает:

1. Запретить сцену пьянства лейтенанта Кассио как клевету на офицерский состав.

2. Запретить сцену похищения генералом Отелло его сожительницы Дездемоны как клевету на моральный облик командного состава.
3. Запретить поручику Яго расистские высказывания в отношении старшего по званию как подрывающие дисциплину.
4. Сократить сцену шторма до 2—3 баллов, ветер южный, умеренный.
5. Крик Отелло «О!О!О!О!» сократить в четыре раза.
6. Сократить целиком образ девицы Бьянки как неверно ориентирующий личный состав.
7. Сократить реплику «В Алеппо турок бил венецианца» как неверно ориентирующую турок.
8. Заменить сцену потери Дездемоной платка на сцену потери ею карты укрепрайона.
9. Ввести в пьесу образ шпиона Джимкинса, крадущего у Дездемоны карту укрепрайона.
10. За большие успехи в личной жизни и в связи с днем народов Африки присвоить генералу Отелло звание маршала связи и поставить бюст героя в пустыне Сахара.
11. Сделать Отелло белым.
12. Присвоить имя Отелло миноносцу «Непоправимый», а самого переименовать в Отёлкина.
13. Запретить Отёлкину душить Дездемону. Душить шпиона Джимкинса, укравшего карту укрепрайона.
14. Наградить автора именными часами и обязать продолжить работу над пьесами, рассказывающими о нелегкой службе бойцов невидимого фронта.

КАК НАУЧИТЬ СОЛОВЬЯ ПЕТЬ

(Для служебного пользования)

Берется дятел.

Нумеруется и за связанные лапки прикручивается к ветке.

Рацион: три раза в день — сухари, на ночь — программа «Время».

Обучение:

1 семестр: лекция по истории глухарей, разучивание сигнала «Воздушная тревога».

2 семестр: изучение биографий Чарльза Дарвина и Иосифа Кобзона.

3 семестр: спецкурс «Родная ветка — источник вдохновения».

4 семестр: отжимание, строевой шаг по ветке, пение в противогазе.

5 семестр: зачет по дятловедению.

Выпускные мероприятия: вручение диплома «соловей российский настоящий», распределение по деревьям, праздничный наркоз, танцы и битые морды окрестным воробьям.

И КОРОТКО О ПОГОДЕ

В понедельник в Осло, Стокгольме и Копенгагене — 17 градусов тепла, в Брюсселе и Лондоне — 18, в Париже, Дублине и Праге — 19, в Антверпене — 20, в Софии, Женеве и Белграде — 21, в Бонне и Мадриде — 22, в Риме — 23, в Афинах — 24, в Стамбуле — 25, в деревне Гадюкино — дожди.

Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье — виндсерфинг, в Швейцарских Альпах — фристайл, в деревне Гадюкино — дожди.

В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино смочет.

Московское время — 22 часа 5 минут. На «Маяке» — легкая музыка...

Я И СИМЕНОН

Я хотел бы писать, как Сименон. Сидеть, знаете ли, в скромном особнячке на берегу Женевского озера — и писать: «После работы комиссар любил пройтись по набережной Сен Лямур де Тужур до бульвара Крюшон де вермишель, чтобы распить в бистро флакон аперитива с двумя консьержами».

Благодарю вас, мадемуазель. (Это горничная принесла чашечку ароматного кофе, бесшумно поставила ее возле пишущей машинки и цок-цок-цок — удалилась на стройных ногах.)

О чем это я? Ах да. «За аперитивом в шумном парижском предместье комиссару думалось легче, чем в массивном здании министерства...»

Эх, как бы я писал на чистом французском языке!

А после обеда — прогулки по смеркающимся окрестностям Женевского озера, в одиночестве, с трубкой в крепких, не знающих «Беломорканала» зубах... Да, я хотел бы писать, как Сименон.



Но меня будит в шесть утра Гимн Советского Союза за стенкой, у соседей. Как я люблю его, особенно вот этот первый аккорд: «А-а-а-а-а-а-а-а!»

Я скатываюсь с кровати, обхватив руками башку, и высовываю ее в форточку. Запах, о существовании которого не подозревали ни Сименон, ни его коллеги по Пен-клубу, шобает мне в нос. Наш фосфатный завод больше, чем их Женевское озеро. Если в Женевском озере утопить всех, кто работает на фосфатном заводе, Швейцарию затопит к едрене фене.

Я горжусь этим.

Я всовываю башку обратно и бегу в ванную. С унитаза на меня глядит таракан. Если бы Сименон увидел этого таракана, он больше не написал бы ни строчки.

Не говоря уже о том, что Сименон никогда не видел моего совмещенного санузла.

Я включаю воду — кран начинает биться в падучей и плевать ржавчиной. Из душа я выхожу бурый, как таракан, и жизнерадостный, как помечный голубь.

Что вам сказать о моем завтраке? Если бы в юности Сименон хоть однажды позавтракал вместе со мной, про Мегрэ писал бы кто-нибудь более удачливый.

О, мои прогулки в одиночестве, темными вечерами, по предместьям родного города! О, этот голос из проходного двора: «Эй, козел скребучий, чё ты тут забыл?» Я влетаю домой, запыхавшись от счастья.

О, мой кофе, который я подаю себе сам, виляя своими же бедрами! После этого кофе невозможно писать хорошо, потому что руки дрожат, а на обоих глазах выскакивает по ячменю.

О, мои аперитивы после работы — стакан технического спирта под капусту морскую, ГОСТ 1274 дробь один А!

А вы спрашиваете, почему я так странно пишу. Я хотел бы писать, как Сименон. Я бы даже выучил ради этого несколько слов по-французски. Я бы сдал в исполком свои пятнадцать и три десятых метра, а сам переехал бы на берег Женевского озера, и приобрел набор трубок и литературного агента, и писал бы про ихнего комиссара вдали от наших. Но мне уже поздно.

Потому что, оказавшись там, я каждый день в шесть утра по московскому времени буду вскакивать от Гимна Советского Союза в ушах, и, плача, искать на берегах Женевского озера трубы фосфатного завода, и, давась аперитивом посреди Булонского леса, слышать далекий голос Родины:

— Эй, козел скребучий, чё ты тут забыл?

ДИАЛОГИ ТЕАТРА АБСУРДА

Диалог 1. НЕ НАДО ШУМЕТЬ!

ГАЛИЛЕЙ. Земля вертится! Земля вертится!
ЧЕЛОВЕК. Гражданин, вы чего шумите после одиннадцати?
ГАЛИЛЕЙ. Земля вертится.
ЧЕЛОВЕК. Кто вам сказал?
ГАЛИЛЕЙ. Я сам.
ЧЕЛОВЕК *(после паузы)*. Идите спать, уже поздно.
ГАЛИЛЕЙ. Но она же вертится!
ЧЕЛОВЕК. Перестаньте нервничать, гражданин!
ГАЛИЛЕЙ. Хорошо. Хотите, я дам вам три рубля?
ЧЕЛОВЕК. Хочу.
ГАЛИЛЕЙ. Нате, только слушайте!
ЧЕЛОВЕК. Ну-ну, короче.
ГАЛИЛЕЙ. Земля вертится. Вот так и еще вот так.
ЧЕЛОВЕК. Хозяин, за такое добавить бы надо.
ГАЛИЛЕЙ. Но у меня больше нет.
ЧЕЛОВЕК. Тогда извини. На три рубля ты уже давно сказал.
ГАЛИЛЕЙ. Что же мне делать?
ЧЕЛОВЕК. Идите спать, пока дают.
ГАЛИЛЕЙ. Но она же вертится!
ЧЕЛОВЕК. Ну что вы как маленький.
ГАЛИЛЕЙ. Вертится! Вертится! Вертится!
ЧЕЛОВЕК. Гражданин, последний раз предупреждаю: будете шуметь — позвоню в инквизицию.

Диалог 2. НА ЧАЙ.

ПАССАЖИР. Можно чаю?
ПРОВОДНИЦА. А яду тебе не надо?
ПАССАЖИР. Яду не надо.
ПРОВОДНИЦА. А то я могу налить.
ПАССАЖИР. Спасибо, не надо.
ПРОВОДНИЦА. Вы не стесняйтесь.
ПАССАЖИР. Мне бы чаю.
ПРОВОДНИЦА. Чаю, значит?
ПАССАЖИР. Его.
ПРОВОДНИЦА. С сахарком?
ПАССАЖИР. Если можно.
ПРОВОДНИЦА. А яду, значит, не надо?
ПАССАЖИР. Вы уже предлагали.
ПРОВОДНИЦА. Работа такая.
ПАССАЖИР. Понимаю.

ПРОВОДНИЦА. Работать никто не хочет, а кататься взад-вперед пожалуйста, чаю ему, тресь, хрясь, елкин вексель, алкин штепель, три аршина, восемь в кубе, через драный компостер налево!

ПАССАЖИР. Если не трудно, повторите, пожалуйста, еще раз!

Проводница повторяет еще раз.

ПАССАЖИР. Большое спасибо, теперь запомнил.

ПРОВОДНИЦА. А ты кто?

ПАССАЖИР. А я лингвист.

ПРОВОДНИЦА. Слушай, лингвист, ну возьми яду!

ПАССАЖИР. С удовольствием. Сколько с меня?

Диалог 3. ПРОТОКОЛ.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сидоров, вы взятки брали?

СИДОРОВ. Ну.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А давали?

СИДОРОВ. Ну.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. И много?

СИДОРОВ. А вот сколько вам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это не много.

СИДОРОВ. Вы у меня не один.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А кто это у вас на червонцах вместо Ленина?

СИДОРОВ. Вы не выпендривайтесь, а то и этих не дам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Тогда распишитесь вот здесь.

СИДОРОВ. Голуба, вы же знаете, я неграмотный.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А вы крестик поставьте.

СИДОРОВ. А вы — нолик.

Диалог 4. ГАМЛЕТ И ГОСКОНЦЕРТ

ГОСКОНЦЕРТ. Вот флейта. Сыграйте на ней что-нибудь.

ГАМЛЕТ. Что, прямо здесь?

ГОСКОНЦЕРТ. Нет, в Дании.

ГАМЛЕТ. Дания — тюрьма.

ГОСКОНЦЕРТ. Вы, батенька, тюрем не видели. У вас какая ставка?

ГАМЛЕТ. Вообще-то я принц.

ГОСКОНЦЕРТ. Тогда одиннадцать пятьдесят выход плюс суточные.

С вами поедет Розенкранц Иванович, валюту будете отдавать ему.

Диалог 5. ГОГОЛЬ И РЕДАКТОР

ГОГОЛЬ. Добрый день.

РЕДАКТОР. Ну.

ГОГОЛЬ. Я приносил вам вторую часть моей поэмы.

РЕДАКТОР. Фамилия.

ГОГОЛЬ. Гоголь.

РЕДАКТОР. «Мертвые души» называлось?

ГОГОЛЬ. Да.

РЕДАКТОР. Она нам не подошла.

ГОГОЛЬ. Я тогда заберу?

РЕДАКТОР. Не заберете.

ГОГОЛЬ. Почему?

РЕДАКТОР. Мы ее сожгли.

Пауза.

А вообще-то автор вы перспективный, еще что напишете — приносите.

Диалог 6. РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ГРОЗНЫЙ. Ну что, смерды вонючие?

Бояре падают ниц.

ГРОЗНЫЙ. Извести меня небось хотите?

Бояре скулят.

ГРОЗНЫЙ. А я вас, сукиных детей, на медленных угольях!..

Бояре стонут.

ГРОЗНЫЙ. Медведями, что ли, затравить?

Бояре причитают.

ГРОЗНЫЙ. С Малютой, что ли, посоветоваться?

Бояре воют.

ГРОЗНЫЙ. Сами-то чего предпочитаете?

БОЯРЕ (*хором*). Не погуби, отец родной!

ГРОЗНЫЙ. Ну вот: «Не погуби...» Скучный вы народ, бояре. Неинициативный. Одно слово — вымирающий класс.

Диалог 7. СУДЬЯ И РОБИН-БОБИН БАРАБЕК

СУДЬЯ. Подсудимый, признаете ли вы, что скушали сорок человек, и корову, и быка, и кривого мясника?

БАРАБЕК. Ах, не могу об этом слышать! (*Падает в обморок*).

СУДЬЯ. Но уцелевшие говорят, что вы их всех съели.

БАРАБЕК. А что, кто-то уцелел?

СУДЬЯ. Да.

БАРАБЕК. Ничего не знаю. Я боец идеологического фронта.

СУДЬЯ. Так вы их ели или нет?

БАРАБЕК. Были такие ужасные времена... Их съела эпоха!

СУДЬЯ. А вы?

БАРАБЕК. Я только корову, остальных — эпоха!

Диалог 8. ЧЕЛОВЕК И ПРОХОЖИЙ

ЧЕЛОВЕК. Осторожней, пожалуйста, здесь яма!

ПРОХОЖИЙ. Это клевета на наши дороги!

Падает в яму.

ЧЕЛОВЕК. Ну я же вам говорил!

ПРОХОЖИЙ *(из ямы)*. Демагогия!

ЧЕЛОВЕК. Давайте руку...

ПРОХОЖИЙ *(кидаясь грязью)*. Уйди, провокатор!

ЧЕЛОВЕК. Простите меня, если можете.

Уходит.

Диалог 9. ОРЕЛ И ПРОМЕТЕЙ

ОРЕЛ. Привет!

ПРОМЕТЕЙ. Здравствуй.

ОРЕЛ. Ты никак не рад мне?

ПРОМЕТЕЙ. Чего радоваться-то?

ОРЕЛ. Это ты прав. Я тоже каждый раз с тяжелым сердцем прилетаю.

ПРОМЕТЕЙ. Да я тебя не виню.

ОРЕЛ. Это все Зевс. Суровый, собака. *(Плачет.)*

ПРОМЕТЕЙ. Ну ничего, ничего...

ОРЕЛ. Замучил совсем. Летай по три раза в день, печень людям клкой... Сволочь!

ПРОМЕТЕЙ. Ну извини.

ОРЕЛ. Ладно, чего там. У тебя своя работа, у меня своя. Начнем?

Диалог 10. СИЗИФ И БОЛЕЛЬЩИКИ

СИЗИФ *(катя камень)*. О-ох! О-ох!

БОЛЕЛЬЩИКИ. Давай, Сизифушко, не посрами!

СИЗИФ. Подмогнули бы, а?

БОЛЕЛЬЩИКИ. Давай-давай-давай!

СИЗИФ. Эх, мать чесна! *(Катит камень.)*

БОЛЕЛЬЩИКИ. Си-зиф! Си-зиф!

СИЗИФ. М-м-м...

БОЛЕЛЬЩИКИ. Держать, Сизя, держать!

СИЗИФ. А-а-а!!!

Камень срывается и летит вниз, давя болельщиков.

Диалог 11. ДИРИЖЕР И ОРКЕСТРАНТЫ

ДИРИЖЕР. С пятой цифры, пожалуйста!

ОРКЕСТРАНТЫ. А по лбу тебе контрабасом не надо, плешивый?

ДИРИЖЕР (*доставая из чемоданчика*). Это у меня пулемет.

ОРКЕСТРАНТЫ. Да ну!

ДИРИЖЕР. Уверю вас.

ОРКЕСТРАНТЫ. Так бы сразу и сказал, интеллигент вшивый!

Играют с пятой цифры.

Диалог 12. ДИОГЕН И НАЧАЛЬСТВО

НАЧАЛЬСТВО. Ты кто?

ДИОГЕН. Диоген я, может, слышали?

НАЧАЛЬСТВО. Не слышали. А чего в бочке сидишь?

ДИОГЕН. Так Диоген же...

НАЧАЛЬСТВО (*сопровождающим лицам*). Чтоб к завтраму ни одного бомжа в городе не было!

Диалог 13. ТЕЛЕМОСТ

ИХНИЙ. Скажите, Леонид, вам мешает цензура?

НАШ. Какая цензура, Фил?

ИХНИЙ. Какая-нибудь.

НАШ. Буржуазная очень мешает.

ИХНИЙ. Но у нас же нет цензуры!

НАШ. Надо же, а мешает...

Диалог 14. ПСИХОТЕРАПИЯ

ГИПНОТИЗЕР. Вам хорошо-о-о...

ПАЦИЕНТ. Плохо мне.

ГИПНОТИЗЕР. Вам хорошо, хорошо-о-о...

ПАЦИЕНТ. Очень плохо.

ГИПНОТИЗЕР. Это вам кажется, что плохо, а вам — хорошо-о-о...

ПАЦИЕНТ. Это вам «хорошо-о-о...», а мне жуть как плохо!

ГИПНОТИЗЕР. Вам так хорошо — вы даже не подозреваете!

ПАЦИЕНТ. Совсем плохо стало.

ГИПНОТИЗЕР. Стало хорошо, а будет еще лучше.

ПАЦИЕНТ. Ой, только не надо еще лучше, только не это!

ГИПНОТИЗЕР. Поздно. Сейчас будет так хорошо — вы забудете, как маму зовут.

Диалог 15. ПОЛУЧКА

ПЕТРОВ. Что это?

КАССИР. Это ведомость.

ПЕТРОВ. Нет, вот это, вот это!

КАССИР. Это сумма.



ПЕТРОВ. Не может быть.

КАССИР. Бывает...

ПЕТРОВ. Восемьсот долларов?

КАССИР. Это за неделю.

Петрова увозят в сумасшедший дом.

КАССИР. Следующий, пли-из!

Диалог 16. ПТИЧКИН И МАСТОДОНТОВ

ПТИЧКИН. Вы подлец!

МАСТОДОНТОВ. Кто подлец?

ПТИЧКИН. Вы!

МАСТОДОНТОВ. Конечно, подлец.

ПТИЧКИН. Значит, признаетесь?

МАСТОДОНТОВ. Никогда не скрывал.

ПТИЧКИН. Ох и подлец же вы, Мастодонтов...

МАСТОДОНТОВ. Конечно, конечно...

Диалог 17. МАША И ЗЮЗЮКИН

ЗЮЗЮКИН. Маша! Маша!

МАША. Что?

ЗЮЗЮКИН. Маша, там опять про Гдяна говорят, я больше не могу.

МАША. А ты не смотри.

ЗЮЗЮКИН. Что же мне тогда делать?

МАША. А ты почитай что-нибудь.

ЗЮЗЮКИН. Маша, я не могу читать, если не про Гдяна.

МАША. Тогда поспи. Вон круги какие под глазами.

ЗЮЗЮКИН. Еще бы, Маша! Третий год снится Лигачев с чемоданом денег...

МАША. Ну и пускай себе снится.

ЗЮЗЮКИН. Так завидно же, Маша!

МАША. А может, он еще и не брал.

ЗЮЗЮКИН. Брал! Брал! Брал! Брал!

МАША. Зюзюкин! Давай мы с тобой лучше в лото поиграем. Помнишь, мы с тобой когда-то играли в лото?

ЗЮЗЮКИН. Давай, Маша. Только чур я буду Гдяна.

Диалог 18. СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

СТЕПАН ИВАНЫЧ. Чтой-то у нас выросло?

АГРОНОМ. Урожай, Степан Иваныч.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. А чегой-то: никогда не росло, а вдруг выросло?

АГРОНОМ. Перестройка, Степан Иваныч.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. И чего теперь?

АГРОНОМ. Посидите тут, сейчас узнаю.

Уходит, возвращается

Убирать надо, Степан Иваныч!

СТЕПАН ИВАНЫЧ. Да ну!

АГРОНОМ. Честное слово.

СТЕПАН ИВАНЫЧ. Побожись.

АГРОНОМ. Век воли не видать.

Диалог 19. В МАГАЗИНЕ

ПОКУПАТЕЛЬ. Почем кроссовки?

ПРОДАВЕЦ. Семьсот рублей.

ПОКУПАТЕЛЬ. Продайте, пожалуйста, за червонец шнурок —
удавиться.

Диалог 20. ХРИСТОС И СОБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Слово имеет Христос.

ХРИСТОС. Люди! Я сын божий...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Регламент!

ХРИСТОС. Я еще не сказал.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Сказал.

ХРИСТОС. А я хочу еще.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (*народу*). Ну что, дадим ему еще?

НАРОД (*хором*). Пошел вон!

ХРИСТОС. Люди! Вы братья!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Уважайте собрание.

ХРИСТОС. Побойтесь Бога!

Христу отключают микрофон.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Товарищи! В президиум поступила записка с предложением Христа распять. Поскольку других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Кто «за»? Ну, подавляющее большинство!

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

В том доме, что напротив «Эрмитажа»
(Но не исключено, что рядом с ним),
Жил некто по фамилии, ну, скажем,
Пафнутьевский, а может быть, Ильин.

Он, кажется, работал инженером,
А может, и бухгалтером служил,
Не числился в последних, не был первым
И был всегда прописан там, где жил.

Он брал в заказе рис, продел и шпроты,
Читал «Советский спорт» и «Крокодил»,
И за права индейского народа
Боролся, и на выборы ходил.

Он был женат — возможно, и вторично,
Дочь привозил учиться макраме,
Предпочитал «Перцовую» «Столичной»,
Но пил, что есть, и был в своем уме.

Когда он умер, не пожив на свете
И не сглотив обыденности ком,
Заплакала жена, зашли соседи,
И на венок расщедрился местком.

* * *

Ты мне нравишься, девчонка из соседней средней школы,
пробегающая мимо с легкой сумкой на плече —
нравится твоя походка

и каштановая челка,
нравится твоя улыбка,

и фигурка,
и вообще!

Но иду я нынче с рынка, у меня в руке авоська,
и в другой руке авоська,

и еще одна в зубах.

У меня была получка,
у меня жена и дочка,
сто халтур, аспирантура, гоголь-моголь, Фейербах!

Оттого-то мимо, мимо ты летишь в весеннем свете,
и в ребро меня, похоже, зря пихает сатана:
я махнул бы вслед рукою —

да в руках авоськи эти,
я бы крикнул: «Стой, девчонка!» —
да в зубах еще одна!

ОЧЕРЕДЬ

Давали колбасу. Михал Иванович Глинка,
Поднявши воротник, встал крайним и вздохнул
О том, что денег нет, что допекает жинка,
А худсовет опять «Руслана» завернул.

Молчал угрюмый Фет, а перед ним Чайковский
«Лаванду» в пятый раз насвистывал в усы,
И о фон Мекк мечтал, согревшись папироской,
И вкус припоминал копченой колбасы.

За ним глотал слюну народу неизвестный,
Воспеть успевший БАМ, КамАЗ, Экибастуз,
Державин Гавриил и Федор Достоевский,
Уж лысый, но еще не принятый в Союз.

За Федором дремал, мечтая об крошке,
Художник Левитан, укутавшись тепло
(С сороковых годов — под псевдонимом Кошкин,
Что до сих пор его ни разу не спасло).

Так, двигаясь гуськом за физиком Поповым,
Ушедшим в сторожа тому семнадцать лет,
Они топтали снег, бранили Бирюлево,
Честили холода и крыды Моссовет.

Но понапрасну их во все места продуло,
Поскольку подошел стоявший впереди
Прозаик Лев Толстой, приехавший из Тулы,
С кошелкою в руках, женою и детьми...

АЭРОФЛОТНОЕ

(диптих)

I
Вам, братья Райт, из самолета,
Курячью ногу истребя,
Шлю благодарность от народа,
А также лично от себя.

Здесь я велик в большом и в малом,
Здесь я всегда на высоте!
Вот выпил кофе над Уралом,
А вытер губы черт-те где!

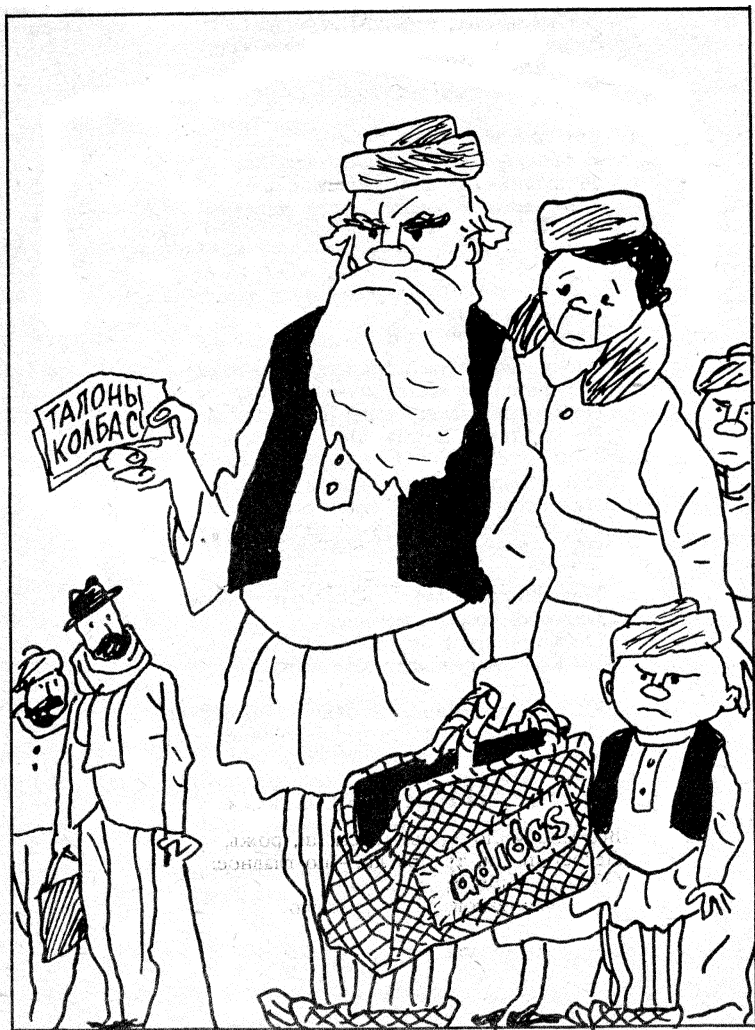
Небесный свет плацкарты вместо,
Тишь кресел, ножки стюардесс...
Даст бог, и долетим до места.
Тогда: да здравствует прогресс!

II
Дорога из Домодедова —
Как долго пилить оттедова!

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

Все мне мило здесь — овсы ли, рожь,
Лесостепь ли, тундра ли, — но главное:
Обожаю нашу молодежь —
Незакомплексованную, славную!

Нет преград для этих для ребят,
Силушки там уймы невредимые:
Вот опять сломали автомат —
Трубку с корнем вырвали, родимые!



Бог не выдаст, и обком не съест —
Верю в них, простых и мускулистых:
Эти, что уделали подъезд,
Разнесут и империалистов!

Вот тебе навек моя рука —
И пропей мой трешник залежалый,
Пэтэушник, давший мне пинка, —
Соль земли и гордость всей державы!

ИМЯРЕК

Вполне добротный представитель масс
В буфете, где какао, лук и частичк, —
На первый взгляд почти рабочий класс,
Но на второй видать, что из начальства.

Разговорились. Прочим не в пример,
Относится всерьез к своей особе.
Он, видимо, уже пенсионер,
Но, кажется, еще на все способен.

Мне «Краткий курс» рассказывает вновь
Философ боевого мезозоя.
Он в принципе не хочет, чтобы кровь,
Но Кобу вспоминает со слезою.

Ко мне прилипший, словно банный лист,
Проживший жизнь и не почивший в бозе,
Он, в общем, интернационалист,
Но в частности — на дух не переносит!

За столиком, судьбою не гоним,
В аэродромном чреве возле Братска —
Он в общем-то нормальный гражданин,
А в частности кто ж будет углубляться?

МОНОЛОГ УСТАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сколько можно, надоело,
хватит, меру надо знать,
ну положим, ну допустим,
ну и ладно, что ж теперь?

Ну Бухарин, ну Вавилов,
ну калмыков-ингушей,
ну еще сто миллионов,
зато выиграл войну.

Ну старушек, ну детишек,
ну ни попадя кого,
Ну казнили, ну пытали,
ну чего там, все свои!

ПРИЗНАНИЕ

Я люблю Россию —
Реки и березки,
Клены и рябины,
Дуб и коноплю.

Всех полей полоски,
Всех дождинок слезки,
Я люблю Россию.
Я ее люблю.

Я люблю Россию
Круглый год бессменно:
Отдохну немного —
И люблю опять...

За любовь такую
Я возьму с России
Все, что только можно
Мне с России взять!

* * *

Пока не требуют поэта
Начальство, бабы и партком,
Пока не пилит он котлеты
И пивом к стойке не влеком,

Пока его в ночи туманной
Под незатейливый фольклор
Не бьет прохожий безымянный
И не штрафует контролер,

Пока его не мучит грыжа,
Давленье, группа «ДДТ»,
Гастроли Зайцева в Париже
И Зыкиной в Улан-Удэ,

Пока его в метро не давят,
Не мнут в автобусе, пока
Рога ему супруга ставит
И мир валяет дурака,

Покуда грезится нечеткий
Звук лиры сквозь немотства мрак —
Счастливцев пишет для «Вечерки»,
Чтоб заработать на табак...

* * *

Когда я поднатужусь и встану
У кормила страны, у руля —
Закажу свой портрет Налбандяну:
Семь на восемь, на фоне Кремля.

Чтобы волей божественной кисти
Полыхал орденами живот
И башка, озаренная мыслью,
Утыкалась в густой небосвод!

Чтобы вечно, зимою и летом,
В Третьяковку ломился народ
И полмира, толпясь у портрета,
Говорило: «И сукин же кот!»



О НЕКОТОРЫХ СТРАННОСТЯХ СУДЬБЫ

Отработано веками,
Ничему не удивляйтесь...
Одного гноили в яме,
Оказалось, что — Сервантес.

Ох, по городам и весям
Погуляла плеть закона!
Ежели кого повесят,
Обязательно — Вийона!

То ли плакать, то ль смеяться
На порогу человечью...
Посадили тунейдца —
Вышел с Нобелевской речью!

9 СЕНТЯБРЯ 1987 ГОДА, СРЕДА

В годовщину Бородинской битвы
Сыгран матч на первенство Европы.
В Лужники приехали французы —
В белых гетрах, хороши собой.

Побежали, гол забили нашим,
Бросились отыгрываться наши,
Долго ничего не получалось,
Но потом сквитали наконец.

В годовщину Бородинской битвы,
Поделив очки между собою
(Одно нашим, а одно французам),
В раздевалку скопом побрели.

Кое-кто прихрамывал, конечно,
Слава богу, все остались живы —

И приятно лица бомбардиров
Холодил осенний ветерок.

УТРЕННИЙ ДОКЛАД

(диалог)

— А что народ?

— Бунтует, государь.

Чего с них взять, с поганцев, кроме бунта...

— Чего хотят?

— Да хлеба.

— Дать.

— Как будто

Уж съели весь.

— Зады наскипидар!

Всему тебя учить... *(Ест осетра.)*

— За скипидаром послано.

— Ну то-то.

Хоть этого с запасом. Что пехота,

Не ропщет ли?

— Весь день кричат «ура».

— Дать водки нынче ж. *(Кушает паштет.)*

С валютой как?

— Валюты вовсе нет —

Малюты есть.

— Да, русская земля

Обильна! *(Доедает трюфеля.)*

Кто в заговоре нынче?

— Ваша честь...

— Неужто нету?

— Непременно есть: .

Вот список на четырнадцать персон.

— Казнить. *(Пьет кофий.)*

— Дыба, колесо?

— Ты их, мон шер, пожалуй, удави

По-тихому... *(Рыгает.)* Се ля ви...

Все трудишься. *(Рыгает, крестит рот.)*

Все для народа... Кстати, как народ?

ТАРАКАНУ

Я не пожалею — расколую:
Я командированный сюда...
Таракан, живущий в полулюксе,
Что же ты не платишь ни черта?

Ни рубля не внесши, ни долтины —
Аль считаешь всех себя дурей? —
Что же ты все бегаешь, скотина,
По просторам комнаты моей?

Что усы топорщишь, хорохорясь?
Что по шкафу ходишь моему?
Или ты совсем забыл про совесть?
Или-ты не русский, не пойму?

Или нет управы супостату,
Влезшему с ногами на карниз?
Или я стерплю, прусак проклятый,
Твой безродный космополитизм?

Не надейся! В туалете зябком,
Зоркость глаза удесятеря,
Я тебя прихлопну правым тапком,
Чтоб не жил ты больше там, где я!

ПИСЬМО ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Маруся! ты в своем запросе
Напомнила про ночь у пруда.
Не будем забегать в вопросе —
В нем нету ясности покуда.

Скажу, чтоб не ходить кругами
(Ты знаешь, я бываю резок), —
Нам надо изменить регламент,
Учтя балансы интересов.

Ты или с Пашкой из совхоза,
Или от Пашки отделяться!
Пора по этому вопросу
Тебе, Марусь, определяться.

Ведь я ж потомственный аграрий,
А Пашка выпивши опасен...
Скажи с учетом всех реалий —
Да или нет? А я согласен.

В совхозе «Стремя коммунизма»
Подходам старым нету места!
Отчизна в рамках плюрализма
Цветет от Пленума до Съезда.

С тобой на хозрасчета рельсы
Желаю лечь, пока не помер.
Пиши. В надежде на консенсус —
Иван Авдюшкин, округ номер...

* * *

Как попал под эту я обложку,
Помню смутно. Только — кровь из носу
— Не вертись! Держи покрепче ложку!
Жуй-глотаи!

(И я глотаю слезы.)

С манных каш вытягивалось тело,
Телу на линейку не хотелось.
— Пионер, к борьбе за это дело
Будь готов!

(Готов, куда ж я денусь!)

У нее глазищи — в лазурите,
У нее в авоське — апельсины...
— Абитуриент, билет тяните!
— Я тяну. — Вы тянете резину.

Сопки ослепительные — ах ты,
Самоволки сладкий промежуток!
— Рядовой, пять суток гауптвахты!
(Господи помилуй!)

— Есть пять суток!

И теряя строчки между делом,
И стирая годы, как сквозь терку:
— Имярек, зайдите к завождеделом
На пятиминутку, на планерку!

В гроб сосновый, четырехугольный
Лягу я в неведомые годы...
— Не вертите головой, покойный!
Что вы здесь не видели?

— Свободы.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Цветы для профессора Плейшнера	3
Литературный процесс	7
Новые времена	8
Как Антошкин и Колобов играли в шахматы	10
Жизнь масона Циперовича	11
Автобус	12
Литература и искусство	13
Проблемы Паши Пенкина	15
Тимофеевы	17
Молодое пополнение	19
Акт приемки спектакля «Отелло» в драмкружке Дома офицеров Прикордонского военного округа	20
Как научить соловья петь	21
И коротко о погоде	22
Я и Сименон	22
Диалоги театра абсурда	25

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Жизнеописание	34
«Ты мне нравишься, девчонка из соседней средней школы...»	34
Очередь	35
Аэрофлотное	36
Оптимистическое	36
Имярек	38
Монолог уставшего человека	39
Признание	39
«Пока не требуют поэта...»	40

«Когда я поднатужусь и встану...»	40
О некоторых странностях судьбы	42
9 сентября 1987 года, среда	42
Утренний доклад	43
Таракану	44
Письмо эпохи перестройки	44
«Как попал под эту я обложку...»	45

ШЕНДЕРОВИЧ Виктор Анатольевич

ЦВЕТЫ ДЛЯ ПРОФЕССОРА ПЛЕЙШНЕРА

Редактор А. С. Пьянов
Техн. редактор Л. И. Курлыкова

Сдано в набор 28.11.90. Подписано к печати 24.01.91.
Формат 70 × 108^{1/12}. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,45. Уч.-изд. л. 2,70. Тираж 75000.
Заказ № 3104. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС
«Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда». Библиотека Крокодила, 1991.

Когда я помру и меня отвезут в крематорий,
Чтоб сжечь мои кости и в нишу мой прах закинуть,
Я стану любезен какой-нибудь славной конторе,
Которой при жизни я не был любезен ничуть.

И хлам моих папок немедля окажется нужным
Стране и народу, лифтерам, швеям и врачам,
И сорок поэтов о нашей поведают дружбе,
И сто критикесс над строкою моею заурчат.

Потом в мою честь назовут пивзавод или трактор.
Возьмут интервью у вдовы и отснимут кино,
И книжку издерганный музами главный редактор
Подпишет к печати, что мог бы он сделать давно...

ISSN 0132—2141. Б-ка Крокодила. 1991. № 4. 1—48.

